

Грех жаловаться

«Труда, как и любви, не бывает слишком много», — сказал как-то отец Илья Шмаин, тоже живший (и служивший) в нашем городе. «Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, / Скрипучий поворот руля...»

Прошло еще полгода, многое внешне поменялось к лучшему, но отчаяние временами охватывает с прежней силой: ладно бы речь шла о выращивании новых органов, искусственном сердце или другой какой-нибудь революции в медицине, а то — обычные вещи, а даются страшным трудом и как бы случайно. *O, Lord, deliver me from the man of excellent intentions and impure heart*, — избави мя, Боже, от человека благонамеренного, но нечистого сердцем, — произнесли бы наши недруги, если б читали Элиота, «Полых людей». Понимаю: наслушались болтунов с нечистыми руками и помыслами. Деятель подозрителен, сердобольный наблюдатель гораздо понятнее.

Мечта, однако, оказалась действительна. Ею, одной мечтой, мы получаем и приборы, и лекарства, и прочее, нужное для работы. Дружба — интеллигентский (и только в этом смысле русский) феномен — сработала, и теперь у нас есть почти все, с чем мы в состоянии справиться. Так что — пробуем.

Чтобы пробиться к жизни, не абстрактно-народной, а собственной, необходим простор, в Москве его не хватает. «Этот город я сдал», — говорит знакомый художник. В Москве всё не в меру человека, и не как в огромном храме, наоборот. Жить в провинции, если есть что делать, намного лучше. До работы — две минуты, а если поторопиться, то полторы. Лунной зимней ночью видно далеко кругом, да и времен года в средней полосе России куда больше четырех. Главное, что отравляет жизнь провинциала, — отсутствие выбора. Вид за окном останется неизменным до конца твоих дней, известно место на кладбище, где будешь лежать, исхода нет. Не попробовав жизни в большом городе, утешения в этом постоянстве не найти. Хорошо еще, что исчезли похоронные процессии, так пугавшие в детстве: открытый гроб несут через город, духовики фальшиво играют Шопена.

Переезд из провинции в Москву — дело как будто естественное и правильное и носит массовый характер: у нас в городе почти нет людей от двадцати до сорока, кроме тех, кто стоит с пивом посреди улицы. Переезд же из Москвы в провинцию, напротив, индивидуален, плохо воспроизво-

дим, в этом его дефект, если взглянуть на дело глазами западного человека, для которого маргинал — чаще всего неудачник.

Взгляд на Москву снаружи выхватывает всякие мелочи: по мере приближения к ней расстояние от дороги, на которое мужчины отходят помочиться, становится все меньше (это уже не ветхозаветные «мочащиеся к стене»): чего стесняться? — никто никого не знает, все чужие. Издалека Москва представляется гигантским полипом (как строится Москва-красавица!), местами со злокачественным перерождением. При ближайшем рассмотрении, однако, в ней находятся люди, готовые отдавать время, деньги и силы, чтобы устроить нашу больницу такой, какой мы ее задумали.

Нажимать все кнопки подряд было ошибкой: наше тихое, безмолвное житие враз нарушилось, и не стало в нем ни благочестия, ни чистоты. Началось все с разговоров с прогрессивным журналистом. «В России, — говорит, — всё лучше, чем кажется». Ага, good to know. Улыбается, мы-то с ним — *элита*. Сейчас нас поддержит государство. И стали к нам наезжать чиновники — с непрошеными проверками (как еще в мирное время может заявить о себе государство?) и так, показаться.

Начальство почему-то решило, что раз чего-то нет в областном центре, то и у нас быть не должно (министр — мне: «Я тебя в область возьму!»). Маленькие начальники, надо сказать, еще и очень неухожены, некрасивы физически. Что делали эти мальчики в детстве: мучили животных, были старшинами в армии? Венец эволюции — особый биологический вид, совершенно равнодушный к наличию в жизни содержания. Слово, взгляд, рукопожатие — все бессмысленное. Чиновники, особенно пожиже, полагают, что нет большего счастья, чем занять их место. В этом шизофреническом, вымышленном мире говорят о вещах несуществующих, но силой разговоров получающих какое-то демоническое полусуществование. Одно теперь хорошо — нет проклятой идеологии (на памятнике Ленину написано углем: «Миша, это Ленин», никто не стирает), мыслями моими они управлять не хотят.

Большой начальник (сейчас уже бывший, их часто меняют) словоохотлив. О себе говорит в третьем лице («Такой-то вам обещает...»), как будто быть начальником — его сущность. Другое дело: «И гибну, принц, в родном краю...» — принца можно заколоть, его нельзя снять. В противовес риторике советских времен (подвиг простого труженика и т. п.) теперь о «народе» начальник отзывается с гадливостью или со снисходительным презрением: «Пришла бабушка в поликлинику...» Сынок, какая она тебе бабушка? Вот, в соседней области главного врача одной из больниц осуди-

ли условно и сняли с должности. Была безумная старушка, которая все время ходила в больницу, надоедала, мешалась под ногами. Главврач попросила начальника милиции что-нибудь сделать: не знала, что старушка «не бесхозная» — так теперь говорят. Милиционеры отвезли старушку в лес, где ее загрызли одичавшие собаки. Милиционерам дали от шести до восьми лет.

Есть, однако, сила, с которой начальство готово считаться, которую принимает всерьез, — бандиты. Писать о них боязно и противно. «Бандиты — тоже люди», «У бандитов свои законы» — у раковой опухоли тоже свои законы роста и метастазирования, она тоже состоит из живых клеток. Но, убивая хозяина, опухоль погибает сама. По утверждению богословов, в этом и состоит скучный замысел дьявола — уничтожить мир и себя.

Пока мне удавалось впрямую с бандитами не сталкиваться, насилие в нашем городе носит бессистемный характер: «Гражданин А., такого-то года рождения, уроженец города Б., пришел в дом гражданина В., уроженца города Г., и, застав там гражданина Д., нанес ему два ножевых ранения в грудную клетку», — вот как это видится следователям. Но найти подручного бандита так же просто, как попасть с приличной страницы в Интернете на неприличную: требуется одно-два нажатия. Помощь бандитов в решении любых задач — главное искушение нашего времени. Раньше эту роль играла госбезопасность — средство столь же универсальное и всепроникающее. Прибегать к ее покровительству среди порядочных людей считалось недопустимым, с бандитами ситуация иная, и вот уже очень милая пожилая дама советует мне обратиться за деньгами к богатому мужику: «Он уже не бандит, ну, может, когда-то и был...» И библиотеке занавесочки подарил, и местная знаменитость читает стишки на его дне рождения. Ситуация-то у знаменитости не «плюнь да поцелуй у злодея ручку», приязнь ее к человеку дела — искренняя. Что означает — уже не бандит? Прошел большой духовный путь, раскаялся, отсидел? Или просто нет теперь необходимости убивать? «Зато его дети учатся в Оксфорде...» Дети, такой чувствительный предмет! Как же тогда «вина отцов в детях и в детях детей»? Запаса зла хватит надолго, а интеллигентки слишком легко чаруются силой.

Несколько раз пришлось лечить «братишек», с мертвыми глазами. Спрашиваю невинно: «Откуда татуировки? Что они значат?» — «Для чего тебе, доктор?» Зачем их делать тогда? Какой-то этикет (как «во флоте» — «на флоте»), мы должны молча склонить перед ним голову. Причастность к гнусным тайнам. О многом рассказал однажды сосед в самолете, психи-

атр (отсидел четыре года): как себя вести в современной тюрьме, в лагере, чтоб уцелеть. Прежде всего это оказалось скучно.

К счастью, содержание нашей провинциальной жизни — совсем в ином. Много единичного, трогательного. Едешь утром на работу, еще только светает, и обгоняешь маленького-маленького мальчика, бредущего в школу с огромным портфелем. Филипок — больше такого нигде не увидишь.

Или — счастливый день — удалось что-то сделать новенькое (новенькое для меня, конечно), и удачно вышло, а потом еще, а потом оказываешься в центре каких-то совпадений и всем нужен, как Евграф Живаго. Или больной (особенно если он не очень больной) произнесет что-нибудь до того забавное, что уже обдумываешь, как рассказать другу, как записать, и спешишь скорей это сделать. Собирая анамнез у одного успешного и, я думаю, бездарного режиссера, спрашиваю: «Вы курите?» — а он делает рукой приглашающий жест: «Нет, но вы курите, пожалуйста».

Радостно достигать некоторого мастерства, делать что-то не хуже, чем на Западе. В этом суть нашей профессии — во врачебном поведении. Гоголевский доктор, между прочим, ведет себя врачебно: врет, что может приставить нос (тогда непрерывно лгали, оттого Чехов и называет врача византийцем), потом советует: «Мойте чаще холодной водой...» — так лечили: гидropатия, передовой метод. Сейчас вести себя врачебно значит делать, как в западных медицинских учебниках, они охраняют больного от гениальности врача. Мы не целители-спасители, вроде морячка из мультфильма («Что бы такого сделать хорошего?»). «Ребята, а вы врачи по наследству или по призванию?» — «По образованию».

Кстати, специалисты утверждают: речь у Гоголя идет не о носе, о другой части тела. Думаю, они неправы, настолько теперь, после знакомства с российскими чиновниками, уверен в буквальной правдивости того, что Гоголь о них написал.

Множество людей, встреч, каждый представляет какую-то свою Россию.

Вот тридцатилетний программист из соседнего городка: аккуратен, речь грамотная, помнит, когда что было, чем лечили, крепкое рукопожатие. Просит дать почитать о своей болезни — он разберется. Очень приятное впечатление: видно, что ему надо того же, что и нам, — свободы и порядка.

Есть, разумеется, и огорчения, но тоже в каком-то смысле утешающие — своею подлинностью. Умер Александр Павлович — крепкий хитрый семидесятилетний мужик. Так я его и не уговорил поменять аортальный клапан. Вернее, уговорил, но поздно. Ни запугивания, ни ласковые слова, ничего не помогало. Встречаясь со мной на улице, чуть подмигивал (зря пу-

гали, доктор, я еще жив!), потом, когда таки стало плохо, ездил в Китай (китайская медицина), после отека легких согласился на операцию, мне отчаянно хамила его магаданская дочь (кто будет за ним ухаживать? какие гарантии вы можете дать, если мы согласимся?). Ну вот, ничего не вышло.

Очень тяжелый больной, полковник в отставке, живет в деревне. У него большой инфаркт, к врачам относится со справедливым подозрением, но на уговоры поддается. Мы смотрим его вместе с коллегой и обмениваемся короткими английскими репликами — в глупой надежде, что больной нас не понимает. Потом, когда мы извлекаем у него датчик изо рта, полковник вдруг произносит что-то вроде: «How did you manage to get such a piece of equipment?» — как это вы разжились таким оборудованием?

Привезли однажды и настоящего американца (живет в нашем городе несколько лет, женат на местной) — без сознания, выпил антифриза. Антифриз пьют не для удовольствия, а чтобы с собой покончить. Судя по татуировкам, простой парень, к тому же троцкист. По-русски, как потом выяснилось, не говорит. Почему он хотел умереть? Ошибся столетием? Так и не узнали — полечили этиловым спиртом, отправили на диализ. Тоже — еще одна Россия: в Москве живет, кажется, семьдесят тысяч американцев.

Приходил скучающий *обморосс* (обеспеченный молодой россиянин), москвич. Совершенно здоров. «Чем занимаетесь?» — «Бизнесом» (то есть делом). Дальше вроде неудобно и спрашивать.

Бывают в нашем городе и очень богатые люди и тоже иногда внезапно заболевают. С одним мы разговорились (инфаркта не оказалось). Бойтся умереть, и это не тот адреналиновый страх, что будит по ночам и не дает вдохнуть, а вполне рациональный: не выйдет, никак не выйдет взять с собой любимые игрушечки. Такие, я думаю, себя и замораживают после смерти — верх бестактности по отношению к Творцу: сам обо всем позабочусь. Я раздухарился и на вопрос, чем помочь, почти готов был произнести классическое: «Не загораживай мне солнце», но попросил очередной аппаратик. Толстый жадный мальчик в красивых очках, у такого трудно выклянчить пастилу или велосипед покататься. «Не накормить рыбой, а научить ловить рыбу» — разве это по-христиански? Разве Спаситель учил ловить рыбу, а не кормил ею?

Есть, наоборот, люди, отнесенные всеми к тридцать второму сорту, — рабочие-таджики. Забывается, что мы жили в одной стране, что нас с ними учили в школе одному и тому же. Стараешься помнить, что удобство нашей жизни куплено, в частности, такой вот ценой, но уже не очень получается: они таджики, другие, чужие.

Соседка держит скотину и интересуется событиями в мире, на свой манер. Поливает огород: «Нам бы такой шланг, из какого в Европе демон-

страции разгоняют». На путч в свое время отозвалась так: «В стране вон какие события, а бедный Михаил Сергеевич заболел». Ей жалко всех — и Михаила Сергеевича, как всякого больного человека, и теленочка или там поросеночка, которого она продает: «Боря, Боренька», — приговаривает соседка и тут же: «Не возьмете мяса на шашлычок?»

Соседка немножко помнит войну, тридцатых годов не помнит уже никто. Недавно я узнал (из вторых рук), как изводили в нашем городе троцкизм. Председателю колхоза — женщине с интересной биографией и репутацией ведьмы — прислали разнарядку: выявить пять троцкистов. (Согласно местной легенде, председатель отличалась редкой красотой. В Первую мировую войну была оставлена женихом-авиатором — элита, не в нынешнем значении слова — в пользу ее родной сестры. Чтобы сжить сестру со света, ставила свечки, подавала записки за ее упокой — старое народное средство. Подействовало, сестра умерла, но жениха вернуть не удалось.) Посоветавшись с бабами, председатель назвала фамилии пятерых членов ВКП(б), столько их у нас и было. Тех увезли в соседний город и расстреляли. Велено было дать еще пять. Бабы назвали пьяниц, бездельников, заваливающих мужиков. Их тоже расстреляли. Когда приказано было дать еще пять фамилий, председатель сказала, что больше троцкистов в городе нет. Тогда ее предупредили, что, если не даст пять, заберут пятнадцать. Она написала записочки с фамилиями всех мужиков в колхозе (двести человек) и вытащила пять жребиев. Мужиков увезли, и на этом бороться с троцкизмом перестали. (Вот образ жертв нашего террора: треть — коммунисты, треть — заваливающие мужики, среди них — Мандельштам, треть — случайные люди.)

Наш больничный дворник метет у входа самодельной метлой из березовых веток. Тут же стоим мы и наши друзья — они приехали из Москвы на нескольких автомобилях. Дворник старается мести так, чтобы пыль летела в нашу сторону, мы отходим, он подстраивается под нас, бормочет что-то неодобрительно-матерное и метет. Первыми нервы не выдерживают у дворника, он пьян. «Скажи мне, — ты тут главный (я в белом халате, поэтому), — ты после войны квадратыши ел?» Вот и все, что он захотел предъявить — перенесенные страдания, совершенно подлинные, и такой же подлинный алкоголизм.

А самый понятный и, наверное, приятный тип больных — интеллигенты. Конечно, разговор с интеллигентом занимает вдвое-втрое больше времени, чем с остальными, конечно, на вопрос «кем работаете?» он ответит, что является членом шести творческих союзов, а если спросить, когда появилась отдышка, то услышишь, что в начале восьмидесятых по приглашению Союза композиторов Армении он ездил в дом творчества в Дили-

жан. Ну что же, я тоже был в Дилижане, и еще я помню его фильм с «Неоконченной» Шуберта, помню, что говорил Мравинский о характере исполнения второй части. После такого разговора можно быть уверенным, что назначения твои интеллигент выполнит. А о том, курит ли он, спрашивать не надо — да, «Беломор».

Что объединяет это множество России, что спасает страну от распада? В худшие минуты думается: только инерция. «Мне пришло в голову, что парадоксальным образом советский строй законсервировал многие недостатки дореволюционной России», — пишет мне бостонский друг. Мы лезем назад в девятнадцатый век, даже орфографически: верните нам твердые знаки, и все у нас будет на «ять». Место наше в семье народов — ученик, который остается на второй год. Он еще доучивается со своими товарищами — до лета, но требований к нему уже предъявлять нельзя. Остальные подлежат обсуждению и, когда надо, осуждению, мы — нет. Сидит себе такой дядька за партой, самый большой в классе, что и о чем он думает? — нет ответа. Сон без значения — такое иногда чувство от нашей истории. Нет вектора, линии. Язык? Ну да, только из-за резкого снижения планки он все больше становится языком дешевки, паразитических *проектов*. И вот уже в бесплатной газете — из нее жители нашего города узнают обо всем на свете (книжного магазина нет) — мы читаем, что «Наталья Гончарова была женой Александра Пушкина». Как объяснить, что так нельзя, что «Александр Пушкин» годится только для теплохода?

Сказано: «Неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников?» Праведников оставим в покое, хватит ли просто хороших людей? Или мы в самом деле *возлюбили тьму*? «Погибла Россия», — говорил отец Илья, поисповедовав в местной церкви. «Муж пьет и бьет, сын пьет и бьет, и внук пьет и бьет» — вот предмет исповедей его несчастных прихожанок (они говорят «пьёт и бьёт»). Чем не национальная идея — борьба с собственным алкоголизмом? Слишком мало мальчишеского, творческого, подлинного, пусть и нелепого, зато чрезмерно много, так сказать, мужского, зрелого, почти всегда — перезрелого. Тяжелый дух, выпили, выкурили чересчур, дурная бесконечность, нет уже радости встречи, давно надо разойтись, но сидят голые по пояс мужчины, едят холодную курицу, похожую на человеческую кисть, — вот образ застолья.

А утром жена или дочь или, например, медсестра похлопают по плечу: «А ты ничего сегодня». В этот раз справился, не ушел в запой. Алкоголь — вот поле нашего сражения. Любовь, ненависть, тяга, отторжение — всё вместе. Попытка сосуществования. Алкоголизм — не живописный, не аскетический, как у Венички, не как недавно в московском метро: «Пожерт-

вуйте десять рублей на развитие отечественного алкоголизма». Никаких традиционных мужских развлечений в больнице — ни футбола по телевизору, ни домино, все это перестало занимать. Алкоголь вездесущ, участвует в судьбах едва ли не каждой семьи. Мы и признаём, и не признаём его власть над собой. Главная добродетель, как у древних греков, — не святость, а умеренность, такой-то «умеет пить». Случись запой — победа за ним, за алкоголем.

Запой начинается так: человек напивается до бесчувствия, отключается (именно отключается, а не засыпает, с последующим пробуждением, раскаянием), приходит в себя через два-три-четыре часа, еще пьяный, ищет выпивку, всегда находит, снова выпивает, сколько может (сколько есть), снова отключается и так далее, пока не произойдет насильственного, внешнего, прерывания цикла (забрали в милицию, заперли дома) либо не станет так плохо, что не то что выпить — поднять руку не вмоготу. Тогда его привозят в больницу и привязывают, чтобы во время приступа белой горячки не выпрыгнул из окна.

Но беда не только в запоях, не во вреде здоровью, не в том, что часть жизни оказывается выключенной, потерянной. Беда в непрерывности диалога с алкоголем, на него тратится целая жизнь. Это как диалог с собственной усталостью, вялостью, ленью, унынием, но тут победы быть не может, в лучшем случае — удержался в рамках. «Но люди больше возлюбили тьму...» Диалог с бездной, а она все расширяется и расширяется. В эту бездну валятся работа, любовь, все привязанности на свете. Жизнь становится — как через вату. Сыр-бор не с веком, не с людьми, не с жизнью — со смертью, с бездной, с ним, с алкоголем. И, может быть, стоит изменить традициям великой русской литературы и не искать в каждом Достоевскую глубину (если копнуть, там такое откроется...), а просто и по-медицински констатировать: алкаш, неряха, дурак?

О чем думают мои пациенты? Загадка. Дело не в образованности. Вот он сидит передо мной, слушает и не слушает, я привычно взволнованно говорю про необходимость похудеть, двигаться, принимать таблетки, даже когда станет лучше, а ему хочется одного — чтобы я замолчал и отпустил его восвояси. Иногда рассеянно что-нибудь скажет про инвалидность, попросит справку, я в ответ: кому вы будете ее показывать, апостолу Петру? Он улыбнется, даже если не понял. Что у него в голове? Вероятно, то же, что у меня, когда я сижу в каких-нибудь электросетях и мне выговаривают за неуплату: ничего не понимаю в тарифах и пенях и почему платить надо до двадцать пятого, и только хочу скорее на волю. Тут речь идет об электричестве, там о жизни, но понять человека можно. Никогда у меня не было такой интересной работы.

А начиналось все так: два с половиной года назад поздним сереньким апрельским утром я подъезжал городу N. Со мной был чемоданчик с эхокардиографом и множеством медицинских мелочей. Десятки, сотни раз я ездил этой дорогой, но такого ликования доселе не испытывал. Грустная красота ранней весны, бедные деревянные и богатые кирпичные дома, даже разбитая скользкая дорога — все радовало. Хотелось крикнуть: «Граждане, подставляйте сердца!» Первичной радости от врачевания я прежде не знал: оно всегда имело какую-то еще цель — научиться, понравиться профессору, защитить диссертацию, найти материал для книги.

Новые мои сотрудники приняли меня дружелюбно. Кабинет я получил скромный, но отдельный. Дали кушетку, два стула и стол с одной ногой. Остальные ноги отвалились сами, а эта приросла, пришлось взять у слесаря топор и ее ампутировать. Ободранные стены я закрыл припасенными шпартгалками с дозами лекарств и ценами на них, на самую большую дыру наклеил политическую карту мира. Медсестра робко спросила, не полезней ли будет карта района (конечно, она была права), я заносчиво ответил, что искал карту звездного неба, ибо таковы мои притязания, да вот не нашел.

Консультантам в первую очередь показывают *социально значимых* людей, не обязательно больных, а еще раньше — сутяжников. Моей первой пациенткой оказалась семидесятилетняя Анна Григорьевна, она пожаловалась Путину на плохое лечение, на бедность и одиночество, письмо написала в Кремль. Администрация президента отправила в больницу факс: разобраться! Анну Григорьевну сочли поврежденной умом — нашла кому жаловаться. Я равнодушным сколько мог тоном сообщил ей, что меня прислал Владимир Владимирович, и велел раздеваться. Старушка и правда оказалась больной и нелеченной, но не сумасшедшей, а только расстроенной. О душах своих пациентов нам надо заботиться только в той их части, где не хватает серотонина. «Сколько денег вы можете тратить на лекарства?» — спросил я Анну Григорьевну. Оказалось, сейчас — нисколько, крупной запаслась, а пенсия только через десять дней. «Какая же это депрессия? Это просто грусть», — говорил наш институтский преподаватель психиатрии. Я посмотрел цены на то, что выписал, и объявил: «Владимир Владимирович просил передать вам сто пятьдесят рублей».

Потом целый день работал, а под вечер зашли хирурги: «Ты с ума сошел столько вкалывать! У нас даже таджики-гастарбайтеры не работают так». И мы отправились отмечать мой первый рабочий день. «Сейчас только узнаем, не дежурит ли областное ГАИ», — сказали хирурги и куда-то позвонили. «Поезжайте спокойно, доктора», — заверили нас с того конца

провода. Я попросил поделиться секретным номером. «Запоминай, — ответили хирурги, — ноль два».

Больше больным я денег не давал, а Анна Григорьевна явилась ко мне через год — попрощаться, брат забирал ее в Симферополь, и вернула сто пятьдесят рублей.

Шумите, вешние дубравы, / Расти, трава! цветы, сирень! / Виновных нет, все люди правы / В такой благословенный день! — вот северянинская эмоция моего первого рабочего дня. Думаю, она и теперь обеспечивает мое существование.

Много, конечно, с тех пор было тяжести и темноты, и просыпаешься в пять утра, лежишь без сна, оттого, вероятно, что у самого серотонин кончился (чтобы радоваться, надо — быть), и тут — очень кстати — звонок из больницы — ехать! Холод, туман, через десять минут уже вбегаешь в кабинет, суешь вилку в розетку, все шумит, надеваешь халат, смотришь на холщовый сумрак за окном и говоришь себе: 1) лучше не будет, 2) это и есть счастье.

сентябрь 2007 г.